

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Б. К. Зайцев  
**ПРЕПОДОБНЫЙ  
СЕРГИЙ  
РАДОНЕЖСКИЙ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Борис Зайцев

**Преподобный Сергей  
Радонежский (сборник)**

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-97  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Зайцев Б. К.**

Преподобный Сергей Радонежский (сборник) / Б. К. Зайцев —  
Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека  
(Детская литература))

ISBN 978-5-08-004498-4

В сборник вошли произведения классика Серебряного века и русского зарубежья Б. К. Зайцева: житийное повествование «Преподобный Сергей Радонежский», лирические книги его паломнических странствий «Афон», «Валаам», а также рассказы. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-97  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-004498-4

© Зайцев Б. К.  
© Издательство «Детская литература»

## Содержание

Тихий свет	6
Преподобный Сергей Радонежский	14
Весна	16
Выступление	20
Отшельник	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

**Борис Зайцев**  
**Преподобный Сергей**  
**Радонежский (сборник)**

© Михайлов О. Н., вступительная статья, комментарии, 2004

© Григорьев П., иллюстрации, 2004

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2001

## Тихий свет

### Борис Константинович Зайцев

В богатой русской литературе XX века Зайцев оставил свой заметный след, создав художественную прозу, преимущественно лирическую, без желчи, живую и теплую. Тихий свет добра, простые нравственно-религиозные ценности, особенное чувство сопричастности всему существу: каждый из нас – лишь частица природы, маленькое звено Космоса, «не себе одному принадлежит человек».

На формирование таланта писателя повлияло обаяние родной природы, впечатления «малой родины». Этот тульско-орловско-калужский край, который Зайцев именовал «Тосканией нашей российской», он любил глубоко и нежно. И в ряде произведений своих, в том числе в художественных биографиях Тургенева и Жуковского, посвятил ему благодарные строки: «Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги – светлая душа страны... В необъятной России как бы область известной гармонии – те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла».

Как прозаик и драматург Зайцев выдвинулся уже в начале 1900-х годов. Его романом «Голубая звезда» (1918) восхищался много позднее К. Паустовский: «Чтобы немного прийти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнувшим светом любимые книги: «Вешние воды» Тургенева, «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана и Изольду», «Манон Леско». Книги эти действительно сияли в сумерках киевских вечеров, как нетленные звезды». Пьеса «Усадьба Ланиных» стала вехой для вахтанговцев. И сейчас на Старом Арбате, в витрине театра, красуется афиша тех времен, возвещающая о премьере спектакля. Но главные книги Бориса Зайцева все-таки написаны за рубежом: автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба»; превосходные произведения, как мы именуем их теперь, художественно-биографического жанра – о Жуковском, Тургеневе, Чехове, житие Сергея Радонежского. Великолепный перевод дантовского «Ада». Италию Зайцев знал и любил, пожалуй, как никто из русских, после Гоголя. Дружил в эмиграции с Буниным, о котором оставил немало интересных страниц.

В течение многих лет я (О. М.) переписывался с Борисом Константиновичем. Началось с вопросов чисто литературных, а дальше заочное знакомство наше незаметно переросло, смею сказать, в дружбу, несмотря на разницу во всем, начиная с возраста. Русское начало его дарования, чистота лирического голоса, глубокая религиозность – все это я почувствовал в прозе Зайцева и полюбил ее.

Борис Константинович, человек исключительно молодой души. Конечно, «старый мир», «другая Россия», новую Россию не признавшая. Но оттого, что мир Зайцева канул в Лету, не значит, без сомнения, будто в мире этом не было ничего ценного и важного для нас. Очень многое, преодолев барьеры времени, уже вошло и продолжает входить в нашу жизнь.

Взять хотя бы обращение Зайцева к молодым русским, прежде всего к русскому молодому литератору, написанное в 1960 году. Сколько в нем высказано поучительного (без назидательности) и для сегодняшнего, и для любого поколения, входящего в жизнь. «Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! – призывал старый писатель. – Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, то, что называется личностью, не умирал. Пусть думает и говорит он своими думами, собственным языком, не заучивая прописей, добиваясь освободиться от них. Это не гордыня сверхчеловека. Это только свобода, отсутствие рабства. Достоинство человека есть вольное следование пути Божию – пути любви, человечности,

сострадания. Нет, что бы там ни было, человек человеку брат, а не волк. Пусть будущее все более зависит от действий массовых, от каких-то волн человеческого общения (общение необходимо и неизбежно, уединенность полная невозможна и даже грешна; «башня из слоновой кости» – грех этой башни почти в каждом из «нашего» поколения, так ведь и расплата же была за это) – но да не потонет личность человеческая в движениях народных. Вы, молодые, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других, и благо вам будет...»

Это, можно сказать, не только заветы: это проповедь...

Как человек Борис Константинович был существом, можно сказать, евангелическим: доброта, ровность отношений с окружающими, обязательное участие в чужих бедах («Возлюби ближнего, как самого себя») – все это отмечалось многими знавшими его близко. Это сочеталось со скромностью и неприхотливостью. Когда дочь, Наталья Соллогуб, пригласила отца жить вместе (зять Зайцева занимал солидную должность в банке), Борис Константинович сообщал мне: «После кончины жены живу у дочери, в огромном особняке. Квартал самый нарядный в Париже (в двух шагах жили покойные Бунины, Мережковский и Гиппиус). Не совсем еще привык к «буржуазности». Вся жизнь эмигрантская прошла в условиях скромнейших. Поймал как-то даже себя на некоем внутреннем раздражении: все эти молчаливые полудворцы вокруг – это не мой мир... «Залетела ворона в высоки хоромы»...»

12 февраля 1972 года я получил «аэрограмму» от близкого знакомого Зайцевых – А. А. Сионского, который сообщал: «Начинаю письмо с печального известия. 28 января 1972 года, на 91-м году жизни тихо скончался Борис Константинович Зайцев. 2 февраля было совершено отпевание и похороны на русском православном кладбище, где уже была похоронена Вера Алексеевна. В парижском соборе Св. Александра Невского, где было отпевание и прощание с усопшим, собрался весь культурный Париж и другие почитатели Бориса Константиновича. Гроб утопал в цветах. Последний долг старейшему русскому писателю был отдан с глубоким благоговением, перед опусканием в могилу, рядом, где уже спит в ожидании своего друга жизни Вера Алексеевна. Теперь там собрались все великаны Русского Слова зарубежья.

За два дня до своей смерти Борис Константинович был парализован в левой части тела, но оставался в сознании. Умер он без страданий во время сна. Так закончилась жизнь этого замечательного русского человека...»

Другая и уже очень долгая жизнь Бориса Константиновича Зайцева продолжается в его книгах, которые выходят теперь на его родине, в горячо любимой им России.

О начале своего писательского пути, о первых исканиях в литературе Борис Константинович вспоминал в очерке 1957 года, который так и назывался «О себе»:

«Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя ищешь, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж, очевидно, через это надо пройти.

Мне было около двадцати лет. Писать хотелось, внутреннее давление росло. Но я знал, что не могу писать так, как тогда писали в толстых журналах «повести и рассказы». Долго довольно ходил вокруг да около, и наконец «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И собственная душа была уже душой XX, а не XIX века. Надо было только нечто в ней оформить».

Как и его старший товарищ и учитель по литературному цеху Леонид Андреев, Зайцев считал, что прежний реализм в его привычных бытовых формах уже изжил себя. 90-е годы XIX века казались унылыми: старые корифеи сошли со сцены (за исключением Л. Н. Толстого и физически угасавшего Чехова); новое виделось в символизме, импрессионизме. В воздухе носились имена Бодлера, Верлена, Метерлинка, Верхарна, Ибсена, Гамсуна. В русской литературе заявили о себе Бальмонт, Брюсов, Федор Сологуб. Зайцев зачитывался философскими

сочинениями Вл. Соловьева, который своими религиозно-идеалистическими трудами заметно повлиял на мирозерцание молодого писателя, а значит, и на его творчество.

«Многое, очень многое сдвинул в моей душе, – говорил в интервью Борис Константинович, – от пантеизма ранней юности моей повел дальше. Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, я зачитывался Соловьевым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивая косами, натачивая лезвия о бруски, а я выходил к крыльцу флигеля своего, приветствуя восходящее светило, – для меня символ Бога».

Одновременно живая и прочная связь соединяла Зайцева с молодым реалистическим крылом русской литературы, в частности с московским литературным объединением «Среда», куда входили Н. А. Телешов, Иван Бунин и его брат Юлий, В. В. Вересаев, критик Сергей Глаголь, наездами бывал М. Горький, реже А. П. Чехов, В. Г. Короленко, А. Куприн. И конечно, выделялся Леонид Андреев. Вместе с Андреевым Зайцев составил как бы левый фланг «Среды».

В амальгаме живых, первородных впечатлений Центральной России, книжных философских влияний, воздействия разнородных – подчас взаимоисключающих – новых веяний в литературе и складывались первые произведения Зайцева: «В дороге», «Волки», «Мгла», «Священник Кронид», «Деревня», «Миф» и др. Первая книжка рассказов, вышедшая в 1906 году, подвела некоторые начальные итоги писателя и вызвала одобрительный отзыв А. Блока в его известной статье «О реалистах»: «Есть среди «реалистов» молодой писатель, который намеками, еще отдаленными пока, являет живую, весеннюю землю, играющую кровь и летучий воздух. Это – Борис Зайцев».

Пантеистическое начало в его ранних вещах ощутимо заметно: от него чувство слияния с природой, ощущение живого и восходящего к Космосу мира, где все взаимосвязано – люди, волки, поля, небо. Отсюда и некая «безличность» зайцевской прозы, о которой писал в своей характерной, заостренной и даже утрирующей манере Корней Чуковский в книге «От Чехова до наших дней»: «Грибы и телята, люди и страусы, и собаки, и яблоки, и рыбы, и медведи – все сливается для Зайцева в одно безликое, безглазое, сплошное животное, облепившее землю, текучее, плодоносящее, неоскудевающее чревом, без слов, без мыслей – прекрасное, упоительное именно своей сплошностью, безглазостью, бессмыслием».

В том же ключе анализирует Корней Иванович и рассказ 1905 года о доброй, чистой и светлой русской душе – отце Крониде: «Самое, казалось бы, индивидуалистическое произведение Зайцева – «Священник Кронид». Все-таки, хоть имя отдельное есть, хоть звание, хоть духовная деятельность, порою весьма прикосновенная к силлогизму.

Но прочтите этот рассказ; ведь священник Кронид для Зайцева вряд ли даже индивидуум. «Не один он действует тут, – говорит про него Зайцев, – за его плечами, вдаль идут поколения отцов и пращуров; все они трудились здесь».

Крепко, как коралл, врос Кронид в своих дедов, точно таких же, как он, «один в один», «сплошных», и в пятерку своих сыновей, «все здоровых, хороших дубов», точно таких же, как он, «один в один», «сплошных».

Даже имен этих сыновей не сказал нам Зайцев.

«Пятеро двуногих ждут, им хочется домой, поржать на весенней свободе; дома пекут куличи, ждет мамаша, приволье, церковь». Тем-то поэтичны они для Зайцева, что они двуногие, что все пятеро хотят ржать, «как один», и ни носа, ни глаз, ни вкусов, ни убеждений сами по себе, отдельно друг от друга, не имеют.

Событий в жизни Крониды Зайцев не знает...

Как это ни странно, но и богослужение у Зайцева выходит «сплошным», инстинктивным, почти зоологическим, и Кронид молится так, как молился бы «страус», «петел», «приветливый жеребенок»; и ни на минуту в молитве не выражает себя, а все то же «всемужицкое тело», «воблу».



Все время Зайцев о богослужении говорит так, будто это косьба или молотьба.

Служит Крон или даже не служит, а «работает» «исправно», «быстро», «просто», «много надо молиться и хлопотать: то читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать»... И вся поэзия церковной службы для Зайцева в том, что это какое-то древнее, деревенское, всему-жицкое «дело».

При всей утрированности, даже шаржированности в характеристике, какую дает Чуковский рассказу, в ней есть и зерно истины, которой не стоит пренебрегать. В то же время зайцевский пантеизм, его «язычество», в котором Чуковский находил нечто уитменовское (Уолт Уитмен – американский поэт, творчество которого проникнуто ощущением бесконечности времени и пространства. – *О. М.*), рубенсовскую «животную» веру, воплощен с помощью нежных словесных акварельных красок, импрессионистического письма, подсвеченного мягким авторским лиризмом.

Оригинальность, самобытность первых произведений Зайцева широко открывают ему двери изданий: газет «Утро России», «Речь», журналов «Правда», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно», «Перевал», «Русская мысль», «Вестник Европы», альманахов «Шиповник» и «Земля». Характерно, что его вещи печатаются в органах самых разных направлений – марксистской «Правде» и символистском «Золотом руне», либерально-радикальном «Мире Божиим» или «Русском богатстве» и неохристианском «Новом пути», который редактировал Д. С. Мережковский. Сам Зайцев не чувствовал себя жестко связанным с каким-либо из литературных направлений. Впрочем, он еще находился в пути, в движении, в поисках себя, шел через издержки и повторения, что отмечал А. Блок в статье «Литературные итоги 1907 года»: «Борис Зайцев открывает все те же пленительные страны своелирического сознания, тихие и прозрачные. И повторяется».

Движение Зайцева-художника, Зайцева-писателя в 1900-е годы можно определить как путь от модернизма к неореализму, от пантеизма к идеализму, к простой и традиционной русской духовности; от Леонида Андреева и Федора Сологуба – к Жуковскому и Тургеневу, к Сергию Радонежскому и Алексею Божиему человеку; от «языческих» метафор к спокойной уравновешенности и прозрачности слога.

Сам он это превосходно ощущал и, оглядываясь на пройденное, писал в 1957 году: «Когда сейчас перелистываешь написанное до революции и следишь за своим изменением во времени, то картина получается такая: возбужденность первых годов понемногу стихает. Стремись невольно расшириться, ввести в круг писания своего не только природу, стихию, но и человека – первые попытки психологии (но всегда с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») – все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом романе «Дальний край» (1912), полном молодой восторженности, некоторого простодушия наивного, – Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим). К этой полосе относится пьеса «Усадьба Ланиных», с явным оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренне автору родственного), и также с перевесом мистического и поэтического над жизненным» («О себе»).

Характерным примером этого «срединного» Зайцева может служить рассказ «Аграфена» (1909) – «житие» простой русской крестьянки, попавшей в город, в услужение, и в деревню вернувшейся. Как бы русский вариант «Простой души» Г. Флобера, на другой национальной почве возросшей. Пронеслись через нее бури чувств, испытания и несчастья, наступило успокоение, обретение света и осмысленности прожитой жизни. Полная противоположность «Жизни человека» Леонида Андреева, с ее беспросветным мраком, отчаянием, бесцельностью существования. На примере этом хорошо видно, как отходит Зайцев от модернизма к неореализму, можно сказать, религиозно-философского склада.

Если говорить о дореволюционном творчестве Зайцева, то итоговой по отношению к нему можно считать повесть «Голубая звезда» (1918), с ее центральным героем, бескорыстным и чистым мечтателем Христофоровым (Христофор – букв. «крестоносец» – имя нескольких святых и мучеников. – *О. М.*). Эту вещь, как сказал сам Зайцев, «могла породить лишь Москва, мирная и покорная, после – чеховская, артистическая и отчасти богемная». Дух и искания русской интеллигенции накануне великих социальных потрясений выражены в ней в слове прозрачном, создающем особенное, зайцевское, настроение.

Здесь и проявляется тайна его художественного дарования, магия его воздействия на читателя. То, о чем позднее говорил поэт и критик Г. Адамович: «Он не резонерствует, он крайне редко заставляет своих героев рассуждать, высказывать отвлеченные мысли. Бунин тоже этого не любил, а Зайцев любит еще меньше. Но в искусстве создавать то, что прежде было принято называть «настроением», Зайцеву едва ли найдутся соперники. Он обладает какой-то гипнотической силой внушения, и как порой ни хотелось сопротивляться этому чуть-чуть прохладному благодущию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что зайцевская тончайшая паутинка тебя опутала. Зайцев на все глядит по-своему, обо всем по-своему рассказывает, и хотим мы того или не хотим, этим «своим» он наделяет и читателя».

События двух революций и Гражданской войны явились тем потрясением, которое изменило окончательно и духовный, и художественный облик Зайцева. Он пережил немало тяжелого (в февральско-мартовские дни 1917 года в Петрограде был убит в толпе его племянник, офицер Измайловского гвардейского полка; по обвинению в заговоре большевики расстреляли пасынка, почти мальчика; сам Зайцев перенес лишения, голод, а затем и арест, как и другие члены Всероссийского комитета помощи голодающим). В 1922 году вместе с издателем З. И. Гржебиным он выехал в Берлин, за границу. Как оказалось, навсегда.

В отличие от многих других эмигрантов-литераторов, свой темперамент отдавших проклятиям новой России, события, приведшие Зайцева к изгнанию, его не озлобили. Напротив, они усилили в нем чувство греха, ответственности за содеянное и ощущение неизбежности того, что свершилось. Он, видимо, много размышлял обо всем пережитом, прежде чем пришел к непреклонному выводу: «Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастья, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как бесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения – всегда научают. Бессмысленного нет» («Москва»).

Писатели-эмигранты, писатели-беженцы, сохранив свою верность прежним идеалам, познали горькую бедность, окаянную неприкаянность, а главное – жесточайшую тоску по родине, по утраченной ими России. Но сохранили внутреннюю свободу. Вспоминая о временах более поздних – об оккупации Франции немцами в 1940 году и об условиях, в которых они оказались с Буниным, – Зайцев писал мне 18 июня 1967 года: «Все мы жили тогда несладко, и меня звали немцы печататься, и отказался, и никакого «героизма» здесь не было, но оба мы выросли в воздухе свободы (не улыбайтесь, Вас тогда еще и на свете не было), и никто нам не посмел бы диктовать что-то».

Каждый из них право на эту внутреннюю свободу выстрадал по-своему.

Пережитое, страдания и потрясения вызвали в Зайцеве религиозный подъем. С этой поры он жил и писал при свете Евангелия. Это сказалось даже на стиле, который сделался строже и проще, многое чисто художественное, эстетическое ушло – открылось новое. «Если бы сквозь революцию я не прошел, – размышлял писатель, – то, изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы еще сильнее в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угрожало бы повторение пройденного.

Теперь повторение не грозило. Обновленная стихия сострадания и человечности (но никак не очернения и отчаяния) пронизывает прозу о пореволюционной России – рассказы «Улица Св. Николая», «Белый свет», «Душа» (все написаны в Москве, в 1921 году). Одновре-

менно Зайцев создает цикл новелл, далеких от современности, – «Рафаэль», «Карл V», «Дон Жуан» и пишет книгу «Италия» о стране, которую любил, превосходно знал (ездил туда в 1904, 1907, 1908, 1909-м и 1911 годах). Начинает перевод гениального творения Данте «Божественная комедия» («Ад»). Но о чем бы он ни писал – о Москве революционной или о великом живописце Возрождения, – тональность была единой, спокойной, почти летописной.

Итальянская тема в зайцевском творчестве проходит через всю его жизнь; но главной, всеопределяющей была, конечно, другая. «За ничтожными исключениями, – вспоминал Зайцев, – все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией дышит». Так появляются первые произведения, несущие в себе память о России, – романы и повести «Золотой узор» (1926), «Странное путешествие» (1926), «Дом в Пасси» (1935), «Анна» (1929), беллетризованные жизнеописания «Алексей Божий человек» (1925) и «Преподобный Сергей Радонежский» (1925).

Это уже новый и «окончательный» Зайцев, пишет ли он о пережитом, отошедшем («Золотой узор») или обращается к миру «русского Парижа», почему-то облюбовавшему квартал Пасси. («Живем на Пассях», – говорили эмигранты.) Качество духовное перешло и в художественное, в эстетику. «Давно было отмечено, – писал М. Цетлин, известный критик русского зарубежья, откликаясь на появление романа «Дом в Пасси», – что он не «бытовик», что он создал свой «мир». Этот зайцевский мир более бесплотен и одухотворен, чем обычный мир. И Зайцеву сравнительно легко преобразить в свой мир эмигрантскую неустоявшуюся, не спустившуюся в быт, неотжелевшую жизнь. Люди у Зайцева всегда были немного «эмигрантами», странниками на земле. Не то что Зайцеву недоступно и другое. Он может изобразить и хозяйственного латыша, и земную страстную девушку («Анна»). Но непрочная эмигрантская жизнь легче, без всякого несовпадения, входит в его «мир»...

Если говорить о позиции писателя, о взглядах его на расколовшийся, на отторгнутый от него мир взирающего, то это будет, говоря зайцевскими же словами, «и осуждение, и покаяние», «признание вины». Взгляд религиозный, хоть и в миру высказанный, кротость в соединении с твердостью взгляда. Это характерно и для первого крупного произведения, написанного в эмиграции, – романа «Золотой узор», и для небольшого очерка «Преподобный Сергей Радонежский». «Разумеется, – комментирует М. Цетлин, – тема эта никак не явилась бы автору и не завладела бы им в дореволюционные годы».

Читая жизнеописание Сергея Радонежского, отмечаешь одну особенность в его облике, Зайцеву, видимо, очень близкую. Это скромность подвижничества. Черта очень русская – не даром в жизнеописании своими чертами человеческими, самим качеством подвига ему противопоставляется другой, католический святой – Франциск Ассизский. Преподобный Сергей не отмечен особым талантом, даром красноречия. Он «бедней» способностями, чем старший брат Стефан. Но зато излучает свой тихий свет – незаметно и постоянно. «В этом отношении, как и в других, – говорит Зайцев, – жизнь Сергея дает образ постепенного, ясного, внутренне здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом, – не его путь».

Сергий последовательно тверд и непреклонен – в своей кротости, смирении, скромности. Когда братия монастырская вдруг начала роптать, игумен не впал в гнев пастырский. Он, уже старик, взял посох свой и ушел в дикие места, где основал скит Киржач. И другу своему, Митрополиту Московскому Алексию, не позволил возложить на себя золотой крест митрополичий: «От юности я не был златоносцем; а в старости тем более желаю пребывать в нищете».

Так завоевывает св. Сергей на Руси тот великий нравственный авторитет, который только и позволяет ему свершить главный подвиг жизни – благословить князя Дмитрия Московского на битву с Мамаем и Ордой татарской.

Преподобный Сергей Радонежский для Зайцева – неотъемлемая часть России, как и Жуковский, как и Тургенев, которым он посвятил биографические работы. И в этих книгах мысль о родине, о России надо всем торжествует.

«Как в России времен революции был я направлен к Италии, – вспоминал Зайцев, – так из латинской страны вот уже двадцать лет все пишу о России. Неслучайным считаю, что отсюда довелось совершить два дальних странствия – на Афон и на Валаам, на юге и на севере ощутить вновь родину и сказать о ней...»

Афон – южная святыня восточного православного мира – возникла, по преданию, ко времени Константина Великого и насчитывала до двухсот монастырей, несколько скитов и множество отдельных келий. До революции десятки тысяч паломников приезжали в это иноческое государство (куда не допускались не только женщины, но даже животные женского пола).

Очерки «Афон» (1927) и «Валаам» (1935) довершают портрет Зайцева – религиозного писателя-подвижника.

«Но вот писатель на Святой Горе, – комментирует «Афон» Зайцева Павел Грибановский, известный публицист русского Зарубежья. – Это «земной удел Богородицы». «Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины»...

Следуя за писателем по монастырям, встречает читатель монахов греческих и русских, знакомится с историей Афона и его святых, слушает незатейливые рассказы о подвижниках нынешних. Попутно с этим может читатель вникать в богослужения, любоваться старыми храмами и афонской природою, может вдыхать ароматы, прислушиваться к шумам, радостно откликаться на малиновый звон колоколов русских. Не забывая о греческом, русский художник все же больше говорит о русском, и, прикасаясь к святости, ищет он и отражений старой России, тех самых, что хранятся здесь и в обстановке пустующих ныне гостиниц, и в размеренно-строгом укладе монастырской повседневности, и в древнем ритме славянских богослужений» («Борис Зайцев о монастырях»).

На склоне лет Зайцев мечтал издать книгу «Святая Русь», куда бы вошли очерки «Преподобный Сергей Радонежский», «Афон» и «Валаам». Этот третий очерк – о путешествии писателя в 1935 году к северной православной святыне – критика считала особенно удачным.

Откликаясь на появление «Валаама», Г. Адамович отмечал: «По самому характеру своего слога, по ритму своего творчества Зайцев в описании далекого, уединенного северного монастыря оказался в сфере, его вдохновляющей. Никто бы другой не нашел бы таких слов, таких эпитетов, создающих иллюзию, будто окружает человека не живой, крепкий суетный мир, а какой-то легчайший туман, вот-вот готовый рассеяться... Замечательно, что «Валаам» значительно глубже и цельнее афонских записок Зайцева... Не пришел ли Зайцеву на помощь Север?.. Природа тут укрепляет человека в его аскетическом лиризме, поддерживает его, а не искушает».

Да, именно Север, природа, близость любимой родины – все это вдохновило писателя и на завершение последней, четвертой книги «Путешествия Глеба» – «Древо жизни», и на создание очерка «Валаам». Его поездка в июле – сентябре 1935 года в «русскую Финляндию» вместе с постоянным тихим светом православия вызвала и новую вспышку ностальгической тоски по России, и признание сыновней любви к ней. Недаром в письме другу и любимому художнику, Бунину, темы эти проходят лейтмотивом.

«Скоро уже два месяца, как мы в отъезде, дорогой Иван! – сообщал Борис Константинович в письме от 1 сентября 1935 года из Келломяк, на берегу Балтийского залива. – И недалеко время, когда будем «грузиться» назад. Пока что путешествие наше удалось **редкостно**. Начиная с безоблачного плавания, удивительного приема здесь и вплоть до вчерашнего дня, когда был совершенно райский русский день. На Валааме провели девять дней. Много прекрасного и настоящего. (Остров весь в чудесных лесах, прорезан заливами и озерами. Луга,

цветы, по дорогам часовенки. Скиты, старички-отшельники – много общего с Афоном. Мы иногда целыми днями слонялись. Жаль только, что масса туристов. В мон[астырской] гостинице толчея.)

Уже три недели живем вновь в Келломяках – в немолодом, огромном доме. Теперь тут пансион. В авг[усте] (первой половине) было порядочно народу, сейчас мы одни. У нас две комнаты (и отдельный крытый балкон в цветах) выходят в зелень. Это была усадьба. Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога – и море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу, ременные вожжи, запах лошади, все эти чересседельники и хомуты... (Вечером идешь по аллее: яблони, цветут настурции, флоксы, георгины. Вдали, в темноте, лампа зажжена на стеклянной террасе... Притыкино<sup>1</sup>.) И еще: запахи совсем русские: острогорький – болотцем, сосной-березой. Вчера у куоккальской церкви – она стоит в сторонке – пахло ржами. И весь склад жизни тут русский, довоенный. <...>

Были ужасающие грозы – дней пять подряд. Сейчас хорошо! Мечтаю о сухом и солнечном сентябре, последние дни прекрасно. Хожу по лесу, собираю грибы (как Сергей Иванович Кознышев<sup>2</sup>.) Дятлы работают нынешней осенью замечательно! Эти прогулки доставляют давно не испытанную радость – от елей, мха, дятлов, грибов и всего того добра, чем так Россия богата. Да, тут я понял, что очень мы отвыкли от русской природы, а она удивительна и сидит в нашей крови, никакими латинскими странами ее не вытравишь».

Странник на путях духовных, Зайцев странствует и в путях духовных, и в путях земных. И недаром свою автобиографическую тетraloгию («Заря», «Тишина», «Юность», «Древо жизни») он называет «Путешествие Глеба», где даже имя героя прозрачно намекает на другого русского святого, неразрывно с Глебом связанного, – Бориса, так же павшего от руки убийц, подосланных Святополком Окаянным.

Заветом остаются слова Бориса Зайцева будущим поколениям: «Любить – не значит превозноситься. Сознать себя «помнящими родство» – не значит ненавидеть или презирать иной народ, иную культуру, иную расу. Свет Божий просторен, всем хватит места. В имперском своем могуществе Россия объединяла и в прошлом. Должна быть терпима и не исключительна в будущем, – исходя именно из всего своего духовного прошлого: от святых ее до великой литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии. И не только говорили.

Святые юноши – князья Борис и Глеб, например, – первые страстотерпцы наши, подтвердили это самой мученической своей смертью, завещав России свой «образ кротости». Этого забывать нельзя. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти».

В пору смуты и шатания нравственных устоев заветы Бориса Зайцева особенно поучительны. Немало великих уроков добра таят в себе страницы его произведений, от которых веет тихим светом милосердия.

*Олег Михайлов*

---

<sup>1</sup> Притыкино – имение отца, где подолгу жил Зайцев.

<sup>2</sup> Кознышев – персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

## Преподобный Сергей Радонежский



*Св. Сергей родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.*

*Как святой, Сергей одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому.*

*Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.*

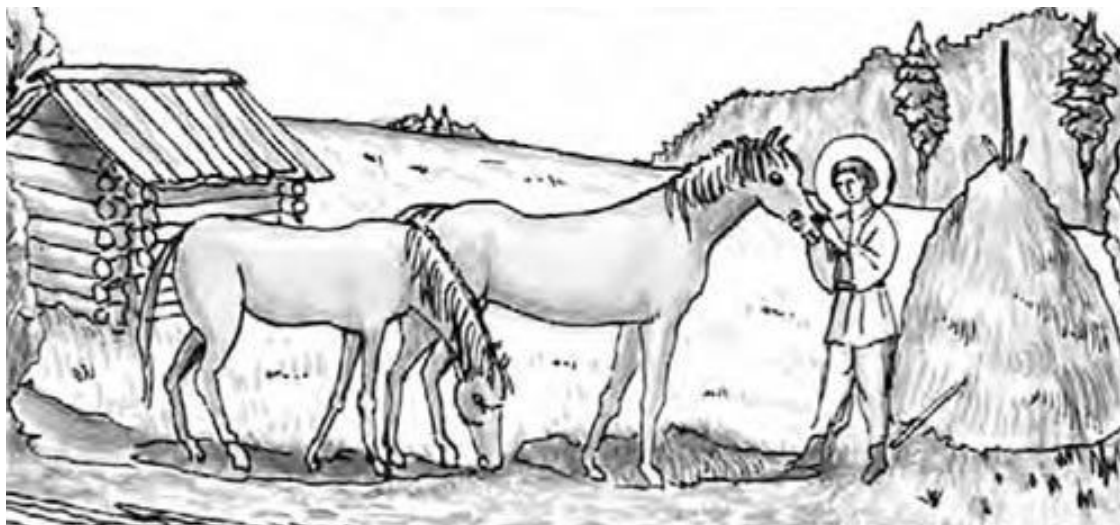
*Да, Сергей был не только созерцатель, но и деятель. Правое дело, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывал в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда оцущивали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящийся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух Средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.*

*Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт – очень скромный – вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святого и провести читателя чрез ту особенную, горную страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.*

*Присмотримся же к его жизни.*

*Париж, 1924 г.*

## Весна



Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа<sup>3</sup>.

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распушенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей, напротив, можно подумать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда – Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И, подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники – то начало ищущее, мечтательно-противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

---

<sup>3</sup> *Епифаний* – монах Троице-Сергиевой Лавры. В молодости путешествовал на Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек, довольно искусный писатель, склонный к ораторству и многословию, как по его временам и полагалось. Был дружен со св. Стефаном Пермским, житие которого тоже написал. При жизни Преп. Сергия – он диакон («Преп. Епифаний Премудрый, ученик св. Сергия Чудотворца»). Автор древнейшего, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему, жития Сергия, главнейшего источника наших сведений о святом. Написано оно не позже 25–30 лет по смерти Сергия. Труд этот дошел до нас в обработке серба Пахомия. Пахомий кое-что сократил в житии, кое-что добавил. По желанию троицких властей, по-видимому, было выброшено место, сохранившееся в Никоновской летописи из подлинного жития: после введения общежития некоторые монахи ушли вовсе из монастыря. Это место могло быть неприятно для монастырских властей XV в. – Епифаний умер в 1420 г., приблизительно 75 лет. Не менее 16–17 лет провел при святом.





Есть колебания в годе рождения святого: 1314–1322<sup>4</sup>. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются, и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

---

<sup>4</sup> Хронология жизни Пр. Сергия. – О рождении Сергия Епифаний говорит неопределенно: «...в княжение великое Тверское, при Великом Князе Дмитрие Михайловиче, при Архиепископе Петре, Митрополите всея Руси, егда рать Ахмулова бысть». В. Князем Дмитрий Мих. сделался в 1322 г., Ахмыл ордынский грабил низовые города в том же году, Митр. Петр 1308–1326 гг. Исходя из этого Митроп. Макарий, Ключевский, Иловайский и иером. Никон, автор обширного труда о Сергии, принимают год его рождения – 1319. С другой стороны – Митр. Филарет, П. С. Казанский и новейший исследователь проф. Голубинский считают – 1313 – 14. Они основываются на указании того же Епифания, что Преподобный умер 78 лет, год же смерти его, 1392, не возбуждает сомнений. По Казанскому, – гораздо прочнее опираться на этот факт: Сергий, наверно, не раз говорил старцам о том, сколько ему лет. Епифаний жил при Сергии последн. годы и мог лично это слышать. Таким образом, Епифаний противоречит себе: исходя из него с одинаковым правом можно принять и 1313–14 – 1319–22. Защитники 1319-го сомневаются в подлинности упоминания о 78 годах жизни Сергия, Ключевский и Архим. Леонид считают это место позднейшей вставкой (анализ стиля). Но Голубинский думает, что сама вставка все же взята Пахомием из текста Епифания, и лишь неловко сделана, при сокращении. Положиться на Епифания в хронологии вообще довольно трудно, т. к. он делает, напр., явную ошибку, относя рождение Сергия ко времени Патр. Каллиста (а тот был от 1330 по 1362). Так что вопрос, в сущности, не решен, но в лице проф. Голубинского новейшее исследование склоняется довольно упорно к 1314 году, смело исправляя дальнейшие указания и Епифания, и Никоновой летописи.

И вот, деревенская картинка, так близкая, и так понятная через шестьсот лет\*<sup>5</sup> Забрели куда-то жеребята<sup>6</sup>, и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у побережья озера ростовского, и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе, и при всей его мечтательности, он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – эту чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

– Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих, и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей – через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленую, и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителем Пресв. Троицы; он многих приведет за собой к разумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает – даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом, видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, *его* больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные – нередко истина последняя для них закрыта. Сергей, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжело, и посредственность обгонит их – зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является *свое*. Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет – призвание. Никто не принуждает к аскетизму – он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в

---

<sup>5</sup> Слова и выражения, помеченные в тексте «звездочками», см. в комментариях в конце издания.

<sup>6</sup> О жеребятах: «на взыскание клюсят» – очень старинное слово, собств. «лошадей». Епифаний любил такие архаизмы, иногда щеколял даже знанием греческого языка. О медведе, например, выражается: «зверь, рекомый *аркуда*, еже скажется медведь».

обхождении ласковый, но с некоторой *печатью*. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот, казалось, что он слишком изнуруется. Она его упрасивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение): но какое чувство меры! Сын остается именно *послушным сыном*, житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском\*. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного дома и *считался*, как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренне, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накаплилось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общения непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

## Выступление

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже перед татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что – карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова»\*, – а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собираение земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землю Юрий и Иван (Калита) Даниловичи\*. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников – «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского\*, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича\*? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую – во всяком случае, уж не стеснялись в средствах. История за них. Через сто лет Москва неизбежно поднялась *над* удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

А во времена Сергия картина получалась, например, такая: Иван Данилыч выдает двух дочерей – одну за Василия Ярославского, другую – за Константина Ростовского – и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве».

В Ростов, воеводою, прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои, и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия... и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили... что Москва тиранствует».

Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем (а к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области.

Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 верстах от Троице-Сергиевой Лавры<sup>7</sup>. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюдения и Онисим, и др.)

Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла Петр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать,

---

<sup>7</sup> Переселение родителей Преподобного в Радонеж, по Епифанию, – 1330-31 г. Еще в Ростове, уговаривая мальчика не поститься чрезмерно, мать Сергия говорила: «Тебе нет еще двенадцати лет от роду, а ты уже рассуждаешь грехах». В Радонеж перебрались позже, след., в 1330-31 Сергию не могло быть меньше 14–15 лет. Если же принять год его рождения 1319-22, то выйдет, что из Ростова он уехал 8-10 лет – косвенное подтверждение взгляда о 1314 годе.

что и горестный вид жизни, ее насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинается дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к медведям радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживания мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромнен, слишком погружен в общение с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея.

Отец просил его не торопиться.

– Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.

Варфоломей *послушался*. Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы *надолго* затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)<sup>8</sup>. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.

Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.

Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешение князя и благословение у местного святителя. Освящали церковь – и обитель возникала.

Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковский».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огонь, а инии благоухание слышаху».

---

<sup>8</sup> Прямого свидетельства, что Кирилл и Мария ушли в Хотьковский монастырь, нет. Но они там погребены, из чего и заключают, что в Хотькове они жили. Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это. – Родителям Пр. Сергия при их предсмертном пострижении в монашество, вероятно, были изменены имена. Кирилл и Мария – мирские имена или монашеские? Известный историк Церкви, автор специального труда о Сергии проф. Голубинский считает, что вернее – монашеские.



Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрывста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское, и эта «лапа» очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней, церквей, келий, и в благоуханьи его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромнен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Св. Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Троиединства, глубочайше внутренне-уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност\*, к которому отправились они, пешком, в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом мощами мучеников – церковь освятили.

Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно) – у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал – суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им, временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко – дорог, да и тропинок не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

## Отшельник

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан<sup>9</sup>, которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «на обедню призываша некоего чужого попа суца саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое – стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7 октября постриг юношу<sup>10</sup>. В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием, – воспринял имя, под которым перешел в Историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Св. Тайн. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию, Сергей же, семь дней не выходя, провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергей, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделение». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную:

– Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова Пророка: се удалихся бегая и водворихся в пустыне. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это – труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего, внутренне, первые месяцы пустытника. Нелегко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за *организованность* человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг – выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.

---

<sup>9</sup> «Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения (право духовничества давалось не всем священникам, а только достойнейшим), то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, где были свои игумены, а при мирских церквях, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось)» (Голубинский). Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, а, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.

<sup>10</sup> Пострижение Сергия и освящение «церквицы»: «священа бысть церкви при Великом Князе Симеоне Ивановиче, мно убо, еже рещи в начало княжения его». Если принять это свидетельство, то выйдет, что пострижение Преподобного относится к сороковым годам (по иером. Никону, освящение церкви 1340, пострижение – 1342 г.). Но сторонники более ранней даты *рождения* Сергия придают на неск. лет ближе и дату *пострижения*. Известно, что Сергей принял постриг на 23-м году жизни. Исходя из года рождения в 1314 – получим 1337. В подтверждение приводят еще следующее: Стефан присутствовал при освящении «церквицы», а затем ушел от Сергия в Богоявленский монастырь в Москве. Там застал св. Алексия, с которым некоторое время и прожил. Алексия в 1340 году вызвали уже к Митр. Феогносту, и он оставил монастырь. Значит, жить вместе, и узнать друг друга они могли только ранее 1340 года, а значит и ушел Стефан, и освятили церковь, и постригли Сергия – раньше. Утверждение же Епифания «при В. К. Симеоне» сделано с оговоркой «мно убо», и как *не* категорическое – отвергается. (Иеромонах Никон, впрочем, считает оговорку относящейся ко второй половине фразы – «в начало княжения его».)



Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол – слабость. Бог – выпуклое, дьявол – вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал – недостижимым. Борьба безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина... – и для усталого миража возникают.

Отшельники прошли через это все. Св. Василий Великий\*, вождь монашества, оставил наставление пустынножителям в борьбе со слабостями. Это – непрерывное тренирование духа, – чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях за день (*examen de conscience* католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и т. д.

Св. Сергей знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в острокопанных шапках, на манер литовцев<sup>11</sup>. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его».) Бесы исчезли.

В другой раз келия наполнилась змеями, – даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронесли по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое; как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»

Видимо, более всего подвергался Сергей искушению страхом, на древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли, в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергей. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. Он одолевает.

Другие искушения пустынножителей как будто миновали его вовсе. Св. Антоний в Фиваиде мучился томлением сладострастия\*, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергей был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого – суровою своею страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искуш был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Св. Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Епифаний не ручается за точность. Просто и прелестно говорит он: «Пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше – старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещения ред-

<sup>11</sup> «Бесы были все в острокопанных шапках, на манер литовцев». – Трудно представить себе, чтобы сейчас «литовец» мог пугать кого-нибудь под Москвою. Но в XIV веке было по-другому. Не раз литовцы наступали на Москву, разоряли и жестоко грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370). Дмитрий Донской, победитель Мамаю, должен был отсиживаться за московскими стенами перед литовским князем! Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. Пр. Сергей много, вероятно, о них слышал, если даже в кротком уединении бесы примерещились ему в облике литовцев.

кие и литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты, и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам, и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи\*, был у него друг лесной. Сергей увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал – с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергей подавал всегда. И медведь сделался ручным.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.